

тратила, убеждая родителей написать и отнести объяснительную классной.

Лучше приврать, чем показаться в школе с этим. Там ведь не будет пошады. Сопли, кашель – неприятные, но привычные симптомы, бывают у всех (пожрать и отпустить). Распухшие веки – нечто из ряда вон (затравить, осеять, распнуть). Такие глаза бывают у мутных типчиков вроде дяди Коли, местного алкаша. Мальчишки бродят за ним гурьбой, кричат: «Дядя Коля, дядя Коля, покажи нам карате!» Он делается бешеный, гоняется за ними – «показывает карате» – они ржут. А еще такие глаза бывают у людей, которые роются в помойках. Их обветренные, багровые лица выглядят одновременно жалко и страшно. Не хочу думать, что я теперь – как они. Я не напивалась и не засыпала в сугробе, но одноклассникам поди докажи.

Глаза болят, нос болит, губы тоже потрескались и болят. Но руки-ноги работают, сидеть дома невыносимо. Тянет сходить куда-нибудь, хоть в магазин во дворе, который виден из окна, с синей крышей. Спускаюсь с пятого этажа; в нашем доме нет лифта, каждая вылазка подбавляет бодрости. А мне надо взбодриться.

Иду по улице и понимаю, каким свежим, сухим и просторным стал предвесенний воздух! Так хочется окунуться в свет, войти в него целиком, как в воду; задрать голову и разглядывать высокие перистые облака. Гуляла бы и гуляла, до самого заката. Но, во-первых, могут увидеть и спросить – чего это ты не в школе, а гуляешь? Во-вторых, хищное солнце, как только я ступаю на его территорию, достает свой скальпель и тянется к моим векам. Тончайшие лезвия надрезают кожу; начинает пощипывать, начинает ныть, начинает гореть. Надвинув вязаную шапку до самых бровей, прыгаю через грязевые ванны асфальтовых проталин, несусь под магазинный козырек. Здесь, в спасительной тени, снова поднимаю голову: небосклон совсем уже мартовский. Нежно-молочные, полупрозрачные завитки стремительно текут на запад, туда, где горизонт заштрихован угловатыми силуэтами оголенных деревьев. Увижу ли, как лес позеленеет? Или мои глаза к тому времени опухнут до такой степени, что веки сростутся? Вдруг я совсем ослепну? Волна саможалости накрывает меня, как порыв пронзительного восточного ветра. Захожу внутрь магазина, протягиваю продавщице деньги и рыдаю. Выглядит так, словно мне страшно жаль расставаться с этой сотней, но хлеб и молоко нужнее.

Продавщица удивленно пялится на меня. Возможно, вспоминает новостные сюжеты о домашнем

насилии. Я, наверное, кажусь ей несчастным подростком, которого годами удерживали в подвале (иначе откуда такое лицо?). Однако она не говорит ни слова (боится связываться с моими взрослыми). Молча подает мне то, что я прошу, отсчитывает сдачу. Сейчас я повернусь спиной, она нажмет красную кнопку под прилавком, сбегутся спецназовцы – спасать меня. Но мне совсем не хочется быть объектом чьего-то героизма; сгребаю мелочь в горсть и ухожу, прижимая к груди шуршащий пакет с еще теплым хлебом и булькающим, прохладным литром молока.

Все, чего я хочу, – вернуться в свою комнату без приключений. Но увы: на первом этаже меня подлавливает соседка, тетя Лида. Она высока, толста, очень разговорчива, не в пример продавщице, и наблюдательна. Тетя Лида работает в банке, выдает людям кредиты, но ей кажется, что она обладает достаточными врачебными компетенциями, чтобы поставить мне диагноз. «Что-то кожное», – говорит она, преграждая мне дорогу к лестнице. Не могу ни обойти, ни уклониться от нее, руки заняты пищевой ношей. «Сходи в кожвен, покажись доктору». – «Куда?» – «В кожвендиспансер. Там все скажут. Нельзя так оставлять, само не пройдет».

Кожвен. Это слово страшнее, чем любой другой диспансер. Оно знакомо мне из глупых сценок КВНа, из трепа старшеклассников. Про одну из десятого «Б» у нас так говорили: «Не обнимайся с Веркой, на ней уже пробу ставить негде, в кожвен загремишь!» Верка перешла в другую школу, а шутка осталась. Не понимаю, как можно ставить пробы, – это же вроде тех, что мы делали на уроке химии? – на человека. Если так поступают в кожвене, я туда ни за что не сунусь. Да и вообще, как говорят бабушкины подружки, это не больница, а притон проституток и наркоманов! Я вежливо улыбаюсь тете Лиде, поднимаю пакет над головой, протискиваюсь между ней и стенкой, исписанной любовными посланиями к «Иванушкам International», и бегу наверх.

Но тетя Лида так просто не сдается. Работа с кредитами сделала из нее человека с железным характером. Вечером она звонит моей маме и пытается вразумить ее, словно имеет на это право. Мама краснеет, вздыхает, вставляет фразы типа: «Я подумала, это просто диатез», «Ну какие оральные контрацептивы, 13 лет ребенку», понуро угукает. Наверное, после такого мама наденет на меня паранджу, чтобы я больше не позорила ее перед людьми. Или вообще запретит выходить на улицу до полного выздоровления – то есть навсегда. Эта мысль подстегивает мои воспаленные железы; слезная

В тех домах живет все руководство нашей школы. Директор с женой-библиотекаршей, мать директора (географичка) и, конечно же, завуч, Ирина Николаевна. А еще там живут учителя из центральной школы искусств. Я окончила основной курс фортепиано всего год назад, меня еще не забыли.

Я живо представила, как вся эта компания возвращается домой – вдруг у них сегодня короткий день? – и тут им на пути попадаюсь я. Опухшая, розовая, просто гуляю возле кожвендиспансера. Допустим, директор меня не узнает, библиотекарша тоже. Да, нечасто я наведываюсь в нашу школьную библиотеку, где за закрытыми на тугой замок дверцами стоят красивые книги для лучших учеников (к коим я, понятное дело, не принадлежу). Старая географичка подслеповата, а вот завуч... Она сразу все поймет. Это профессиональное – сразу все понимать про своих подопечных. У Ирины Николаевны сверхчувствительность ко всякой лжи, ко всякому лицемерию. Даже если оно ничтожно, как брякнуть скверное словцо, не подозревая, что тебя сдадут. О, как она орала на меня тогда, в шестом классе! Вызвала к себе посреди урока, усадила на бархатный бордовый стул. Восстала надо мной, тряся своими короткими искусственными кудрями, и заревела белугой. Я все никак не могла взять в толк, что случилось. Оказывается, я совершила вопиющий проступок – назвала дурой «ту девочку». «Та девочка» была проблемной «переведенкой», конфликтовала со всеми подряд – не только с обидчиками-одноклассниками, но и с защитниками-учителями. Что называется, наривалась. Вот я и обронила в приватной беседе, что она дура – ну а кто еще, если так выпендривается даже перед теми, кто пытается ей помочь? Единственное это слово поставило на мне вечное клеймо в глазах Ирины Николаевны. Я встрюилась во вражий стан тех, кто травил «ту девочку» ежедневно, выбрасывал из окна ее портфель, лепил ей жвачку в волосы. Я, кажется, до сих пор слышу голос завучихи, визгливый и злой, повторяющий снова и снова, как я ее разочаровала.

С другой стороны, выходит, что разочаровать Ирину Николаевну еще больше я не способна. Куда уже ниже – все, плитус. В каждой девочке старше десяти, вздумавшей нарисовать ногти, ресницы или, не дай бог, губы, Ирина Николаевна своим рентгеновским зрением видела гнилую душу. По идее, она должна быть морально подготовленной к тому, что эти девочки рано или поздно окажутся в кожвене. Но... я же все-таки хочу доучиться. А если она заметит меня в таком месте, то сделает все, чтобы я на-

всегда покинула ее школу. Так сделали с Анечкой из 9 «В». Когда узнали, что она забеременела, ее по-тихому вынудили забрать документы. Никто не знает, что с ней потом стало. Я так не хочу.

Поэтому я иду в свою комнату и тру мои бедные глаза изо всех сил. Подзажившие частицы кожи расплазуются, обнажая свежие ранки. Слезы готовы потечь из меня от дуновения сквозняка, не то что от такого мощного механического воздействия. Раскрасневшись пуще прежнего, иду к бабушке. «Что-то мне поплохело, – шепчу я спекшимися губами. – Может, отменить запись? Дома посижусь».

Бабушка отвечает, что это вздор, что надо идти, а то вообще все лицо сгниет. Она достает градусник, резко встряхивает его, заталкивает мне под мышку. Результаты физических измерений моего тела показывают, что я могу не только самостоятельно доехать до кожвена, но и «пахать, как молодая кобылка». Если бы у кобылки были такие же заплавленные глаза, ни один конюх не выгнал бы ее в поле. Но бабушка неумолимо отсчитывает сорок рублей на проезд – двадцать туда, двадцать обратно, и чтобы в пять была дома.

* * *

Мне всегда казалось, что корпус кожвендиспансера должен быть похож на военные госпитали из старых фильмов. Сквозь разбитые форточки доносятся стоны больных; возле рухнувшего крыльца толкуются бродяги, прикрывают ветошью обезображенные части своих изможденных тел. Но это оказался просто длинный, тихий дом советской постройки. Некоторые окна зашторены плотными занавесками (приемная), некоторые покрашены изнутри белой краской (туалет). Молодой мужчина в форме медбрата курит за углом, больше – никого. Наверное, толпы страждущих кишат здесь по утрам, а сейчас они уже расплзлись по своим убежищам. Подожду, пока медбрат докурит, чтобы зайти внутрь инкогнито. Останавливаюсь на противоположной стороне улицы и делаю вид, будто просто кого-то жду.

Конечно же, этот «кто-то» не заставил себя долго ждать. Подъезжает автобус, из него выходит низенькая женщина в желтой меховой шапке. Отрывает пальто, чинно движется вглубь «немецкого» квартала. Она идет такой знакомой походкой и вот неумолимо превращается в мою бывшую учительницу по сольфеджио. Только не это! Я не видела ее с выпуска, почему именно сейчас? Да, она где-то тут живет, но что, обязательно ей идти домой именно по этой улице?

Я решаю срочно перейти дорогу, наплевав на медбрата. Не сомневаюсь – он на всю жизнь запомнит странную девочку, которая с глупым видом мечется туда-сюда и никак не решается войти в диспансер. Но мне уже все равно – я спасаю свою отекающую личность от неминуемого позора. Она же расскажет всем, абсолютно всем, где меня застучала.

Учительницу по сольфеджио лет пять тому назад бросил муж. До этого события она была просто остроумной и веселой дамой, которая иногда прикальфовалась над нерадивыми учениками – а после превратилась в настоящую мегеру. Она с нескрываемым удовольствием ставила на нас кресты. Если ей не нравился цвет волос ученицы, выгоревших за лето, она говорила об этом на весь класс, добавляя, что красить волосы рановато – химия плохо влияет на мозги. Если ей не нравилось, как ученик подготовил домашку, она во всеуслышание заявляла, что никакого таланта в нем нет и не будет. Она проводила музыкальные диктанты, перемежая тоскливые мелодии заунывными рассказами о своем бывшем. На дорийский и фригийский лад распекала свою свекровь, которая, конечно же, была в сговоре с сыном. Финальным аккордом этих рассказов неизменно были причитания о безнадежно канувшей юности – и ненависть, плохо скрываемая ненависть ко всем нам, набирающим силу молодым девахам. Ведь к любой из нас мог прибиться ее благоверный.

Перейти дорогу мешает здоровенная грязная лужа, целый бассейн из талого льда. Пытаюсь ее обойти, но тут, как назло, из переулка выскакивает ревущая скорая. За ней еще три машины, пристроившиеся как бы между делом, типа, они не нарушают, а тоже спешат. Пока вся эта кавалькада проезжает мимо меня, притормаживая перед грязевым бассейном, учительница по сольфеджио подступает совсем близко. Я уже могу различить ее губы, блестящие розовым перламутром. В последнее мгновение бросаюсь через улицу, едва не налетаю на капот притормозившего грозно сигналившего авто.

Учительница, конечно же, оборачивается. Бегло оценив дорожную обстановку, сбавляет шаг, прижимается к самой дальней кромке расчищенного тротуара. Едва ли не в сугроб лезет, чтобы подальше от машин. Помню-помню, она часто рассказывала, как боится лихачей, которым бы только права купить. Аккуратно переступая через крупные, отколотые ледышки, идет себе дальше.

Она меня не узнала. Видимо, мое бедное лицо так распухло, что я уже сама на себя не похожа. Печально, но это же меня и спасло.

Меж тем на часах пятнадцать минут пятого. Если сейчас встану в очередь в регистратуру, чтобы завестись карточку, это займет еще минут десять. Получается, я подойду к кабинету врача всего за пять минут до окончания своего приема. Понимаю, что не хочу выслушивать еще один сердитый выговор. Мне уже хватило негативных воспоминаний.

Немного прогулявшись по центру, чтобы убить время, еду домой. Говорю бабушке, что врач ничего не понял, никакого рецепта не выписал. Он вообще торопился и даже толком меня не осмотрел. Вот вам и рекомендации знакомых!

Это едва ли не первый случай, когда я так откровенно вру бабушке, да еще и с такими красочными подробностями. Но я договариваюсь с собой, что это как раз тот случай, когда ложь во благо. Так будет проще для всех, особенно для бабушкиных нервов. Я не догадывалась, какие последствия это повлечет.

Через два дня мама берет отгул; мы встаем в шесть утра и два часа едем на маршрутке в областной центр к врачу-аллергологу, в частную клинику, на платный прием. Еще один тайный доброжелатель поделился контактом.

* * *

Платный врач-аллерголог понял все и сразу. Не пришлось даже сдавать анализы. Он – вернее, она, приятная тетенька средних лет, – просто посмотрела на то место, где на моем лице когда-то были глаза, и сказала:

– Атопический дерматит. Реакция на солнце.

Она долго объясняла нам, что это и почему; половина слов были непонятными, но суть я уловила. Случай редкий. Почему – никто из ученых пока толком не разузнал, поэтому лекарства как такового нет. Генетическое – стало быть, не лечится. Я плакала от обиды на такую подлую жизнь, но делала вид, будто глаза просто сами собой слезятся.

– Но можно облегчить симптомы, – резюмирует аллерголог и пишет на квадратном бумажном листочке названия каких-то препаратов.

Потом она рассказывает мне, как надо ухаживать за кожей, чтобы «минимизировать риски». Я чувствую себя так же странно, как на приеме у стоматолога, который в прошлом году учил меня чистить зубы – будто я двенадцать лет делала это неправильно. Но все же я ощущаю благодарность к этой женщине. Она хотя бы разубедила меня в том, что я мутант. Только весной, и только если не соблюдать ее рекомендаций.

Чтобы приобрести то, что велела аллерголог, мы идем в ближайший торговый центр, где наверняка

